

ОТДЫХ В ГРЕЦИИ

РАССКАЗ

Итак, звучали цикады. Я с некоторой опаской употребляю слово «цикады», потому что вычитал у Набокова что-то вроде «которых почему-то называют цикадами» – а кому и знать, как не Набокову, где цикады, а где не цикады. Порицаемые, точнее, элегантно поставленные Набоковым на место авторы, имели в виду, вероятно, каких-то необычных для их уха кузнечиков, и не удержались, по слабости своей, от экзотического, северянински-красивого слова «цикада». Цикада – это что-то вроде кузнечика, верно? Уж на это-то я могу рассчитывать? В общем, в дальнейшем этих существ, если о них пойдет речь, я буду называть цикадами. Надеюсь, что я не оскорблю этим память великого писателя.

Цикады звучали. На что похож звук, издаваемый одновременно миллионом цикад? Прежде всего, необходимо сказать, что их звука очень много. К нему быстро привыкаешь, но если остановиться, прислушаться, то этот звук, мощный, стереофоничный, моментально оккупирует все твое слуховое пространство. Что касается тембра, то он напомнил мне расходившуюся панцирную общежитскую кровать, только здесь кровати были совсем махонькие, для каких-то очень маленьких и милых сказочных человечков. Эти крохотные панцирные сетки, миллион сеток, часто-часто вибрировали, издавая крошечный, но все-таки панцирно-сеточный звук. Впрочем, иногда мне казалось, что это не кровати, а много-много крохотных трескучих насосиков, которые все что-то качают, качают, качают, очень быстро и безостановочно. Цикады есть почти всюду, где есть растительность. Странно их постоянно слышать, да не просто слышать, а прямо-таки тонуть в их звучании, и не видеть при этом ни единой цикадины – прямо какая-то мистификация.

Эвкалипты, кипарисы, пинии. (Опять, слово «пинии» я пишу, втянув голову в плечи, боясь, как бы какой-нибудь новый Набоков не пригвоздил меня к позорному столбу.) Какая мягкая, добрая хвоя у пинии! Просто приглашает ладонь отдохнуть, побыть в ней. Однако хвоя пинии, благоволя глазу, разочаровывает руку – она вовсе не так мягка на ощупь: колется, сопротивляется. Но разочарование длится недолго. К покалыванию привыкаешь; очень похоже кровь иногда покалывает пальцы изнутри. Пинии имеют корни также и сверху, возносятся ими ввысь. Эти верхние пиниевые корневища покрыты мягкими хвойными облаками. Хвоя пинии кажется сплошной, во всяком случае, такой запоминается; хвоя наших-то сосен состоит все же из иголок.

Кипарисы, старые друзья. Их я помню с самого детства, с тех самых старых добрых времен, когда мы с родителями выезжали летом на юг. С этим деревом у меня связано одно печальное недоразумение: как-то раз я прочел у Бунина – «чернели кипарисы». И везде дальше: «черные кипарисы». Бунин прямо-таки настаивал, что кипарисы черные. Сколько ни таращил я на них глаза, при самых разных освещениях, мне ни разу не посчастливилось увидеть кипарисы черными. Ну, разве что когда совсем темно и все, на что не падает прямо свет, становится

черным. Зеленые они, хоть тресни. Я был подавлен. И как будто для того, чтобы довершить мое посрамление, я не только у Бунина (у Олеши? у Катаева? у того же Набокова?) прочитал про черные кипарисы. И у Пушкина – «темные кипарисы». И он туда же. Спасибо, что хоть не черные. Здесь, впрочем, я готов на компромисс – кипарисы, действительно, темно-зеленые.

Эвкалипты. Я издавна люблю и уважаю их. Благородная потертость эвкалиптового листа, его светло-зеленый, немножко морской цвет. Эвкалиптовая кожа, которая кое-где свисает, перепутавшись, со ствола, как будто кто-то там, то сям принимался чистить эвкалипт, как банан, недочистил и бросил. Странно думать, что когда-то эвкалипты были только в Австралии. Теперь они есть, я думаю, в каждой южной стране. Помню, еще совсем пацанчиком я был с отцом в Батуми. Мы долго шли под не дающим ни на секунду забыть о себе солнцем, в парниковой духоте и вдруг очутились в тени, в полумраке, в прохладе. Я до сих пор хорошо помню именно внезапность этого перехода. «Бабушка!» – вдруг осенило меня. Это были эвкалипты. Но почему бабушка?

...коричневый комод, старый, реликтовый, занавески с лебедями, панцирная кровать у одной стены, панцирная кровать у другой стены, я знаю, под матрасом одной из кроватей подложена фанера, чтобы дедушке спать на твердом, ковер над бабушкиной кроватью, где изображена тройка, за которой гонятся волки и вот-вот настигнут ее; здесь каждый день после обеда мне устраивают тихий час, и я изнываю этот бесконечный час, глядя на удалую тройку и на занавески с лебедями, бабушка и дедушка тоже ложатся вздремнуть после обеда, и этот час (или сколько там) действительно тихий, только изредка взревет на углу автобус, или мамаша позовет с балкона свое дите, а потом, наконец, дедушка откашливается, отхаркивается, так-нибудь из них произносит первые слова, проходит на кухню мимо моей двери, так явственно, так близко, как будто прошли мимо самого изголовья моей кровати, а не за дверью, я начинаю волноваться, когда же, когда, я знаю, что избавление близко, меня обуревают нетерпение у самого финиша, наконец, дверь внезапно распаивается, я торжествую, тихому часу конец, комната сразу наполняется домашними звуками, жизнью. Я иду в туалет, а может быть, на кухню.

Ах да, иногда бабушка извлекала из комода пузырек с эвкалиптовой настойкой. Мне очень нравился этот диковинный резкий запах.

Мы с отцом вошли в тень эвкалиптов, мы очутились среди этих больших деревьев – как бы следующего, большего по величине калибра. От них веяло доброй, защищающей тебя силой, эти добрые и сильные деревья дали нам приют от здорово доставшего нас, слепящего и парящего солнца. Запах был от них слабенький, не то что шибящий в нос запах из комода. Тогда же, впечатленный могучестью, размахом эвкалиптов, я вспомнил о легендарных секвойях, понимая, конечно, что эти деревья совсем уж другого, непредставимого калибра. Но как я обалдел, узнав знакомый запах в месте как нельзя более удаленном от уютной бабушкиной комнатки, от комода!

...на кухне выцветшая клеенка на столе, тяжелые серебряные ложки с несколько загнутыми внутрь краями; я скромно гордился, что у нас серебряные ложки, доставшиеся нам... Как они нам достались? Забыл. Ложки своей крупностью, круглостью, увесистостью как бы даже взывали к тому, чтобы давать ими по лбу непослушным, капризным детям; у нас такого, впрочем, не водилось. Трофейные бургерские блюда, с поблекшими от десятилетий пасторальными сценами на них; от блюдца, от сцен потягивало чем-то нездешним, и даже не просто нездешним, а именно немецким, хоть мурлыч под нос «ах, майн либер Августин», хотя непонятно, в чем разница – такой же патриархально-мещанский стиль, какой был, вероятно, и у нас; двухкомфорная плита; в широкогорлых, обещающих только здоровый образ жизни, короче, – кефирно-молочных бутылках некая разновидность кефира, носившая местное, казахское название «катык», катык вываливается из бутылки комка-

ми, еще не совсем утратившими цилиндричность. На окне – газетная бородка от мух. Бородка загадочно шевелится, как неторопливые водоросли на речном дне. «Гриб» в банке под марлей. Я очень любил его. Куда он делся? Куда делись эти грибы? И как они называются на научном языке? Приходишь бывало после трехчасового катания на велике, весь измотанный, пыльный, иссохший, бежишь на кухню, хватаешь банку с грибом за широкие круглые, крутые бока своими тогдашними маленькими ладошками, осторожно и в то же время как можно быстрее наклоняешь ее над чашкой, банка громоздка, неповоротлива, норовит выскользнуть, вернуться из рук... Потом пьешь, пьешь... Опять наклоняешь и опять пьешь. Видно, так и придется сойти в могилу, не отведав еще раз грибного напитка... А в нашем подъезде – полумрак и прохлада, особенно ценные, когда тыходишь сюда с уличного пекла, да и из комнатной настоявшейся духоты тоже. Здорово было, захлопнув за собой дверь, единым духом сбежать по лестнице и выскочить на двор! Еще лучше, если как раз перед этим во дворе побывала поливальная машина, и ты всей кожей вкушаешь прохладный, легкий водяной аэрозоль. Особенно кожей лица... А вот еще, например, выходишь утречком с дедушкой из дома, идешь некоторое время мимо стареньких, невысококоных хрущевских домов – двойников нашего, – затем поворачиваешь, и вот мы идем по пыльной аллее, обсаженной акациями, а вддали уже виднеется огромный и красный серп и молот на бетонном постаменте, на некоторое время он знаменует собой цель нашей прогулки; аллея кончается, мы переходим шоссе, полное рева и газов, и попадаем еще на одну аллею – точное продолжение старой, а серп и молот уже гораздо ближе, гораздо больше. Всего мы пересекаем не то два, не то три шоссе; оказываемся у серпа и молота. Солнце жарит уже вполне ощутимо, но настоящей, дневной жары пока еще нет. Все это время дедушка рассказывает что-нибудь из древнегреческой истории, я слушаю, слушаю... А потом мы входим в парк... Главное в парке – это, конечно, обширный бассейн с лебедями. Лебеди спокойно, прямо плавали. Они напоминали величественные струги. Иногда они что-то высматривали в воде и стремительно пронизывали шейей водяную толщу, что вызывало из каких-то моих собственных глубин ассоциацию с какой-то инъекцией. Без шеи лебеди были сразу не лебеди, за эти несколько секунд становилось очевидно, что лебедь – это обыкновенная глупая птица, что-то очень прозаическое, вроде гуся с базара. Лебеди были с красными клювами и с желтыми клювами. Я подсчитывал, точнее, уже знал, каких было меньше, и к этим избранным относился с особым уважением. Не помню, чтобы мне надоедало смотреть на лебедей. Кстати, именно у этого бассейна я узнал от дедушки, что в Австралии есть черные лебеди. Я с почтением выслушал эту новую информацию. Надо же – черные лебеди! От лебедей естественно перейти к газировке, к газировочным автоматам, неприметно стоявшими поодаль от всеобщего оживления. К газировке у меня тогда было нечто вроде мании: мне грезилось, как я добираюсь до нее – и пью, пью, пью без отдыха, без перерыва; вероятно, это потому, что покупали ее мне редко и неохотно. Мне было стыдно просить дедушку купить ее, но часто страсть побеждала гордость. Дедушка очень добрый, но принципы есть принципы, и он, в основном, шутиво отказывал, приведя какой-нибудь шутливый, незамысловатый аргумент. Но все-таки он, по-видимому, верил больше в доброту, чем в добро, и иногда покупал бедному ребенку эту дрянь. А если я оказывался в парке с бабушкой? Ну, тут проси, не проси – нет. Нет – значит, нет. И начинать не стоит. Как-то раз у нас с моим лучшим другом Сашкой Середой образовалось некоторое количество мелочи, и мы, конечно же, решили «оттянуться», как сейчас говорят, по полной программе. Сам оттяг не помню, но помню, как мы еле бредем, ловя ртом воздух, по уже начинающему пустеть парку, и солнце уже предзакатное, светящее сбоку.

...А еще, в те времена и в тех местах, было дерево «карагач», от которого во мне осталось только название, – впрочем, вспоминаю темную, старую, какую-то

оскудевшую, всю изборожденную глубокими морщинами кору... нет, не вспомнить, мясо «сайгачина», о котором в наших северных, сугробно-еловых краях, насколько помню, тогда не слыхали, пластилин по всей квартире, за который меня гоняли, а я не поддавался. Пластилин... О, сколько можно вспоминать о нем! ...рогатки с тоненькими резинками, иногда круглыми в сечении, иногда квадратными – большой и указательный пальцы, перекачивая между собой резинку, чувствуют маленький, но все-таки уголок; рогаточные пульки – обкуски проволоки, сглаженные знаки «<», всеобщее рогаточное помешательство, захватившее, конечно, и меня, конфискация рогаток милицией, рогаточные разборки между враждующими кланами – там рогатки модернизировались чуть ли не до уровня арбалетов; коробок спичек, на котором изображено: «XXX лет со Дня Победы», пышные тополя с толстыми, гладкими, блестящими от солнца листьями, такой лист вызывал во мне смутное желание взять его, как блин, обеими руками за бока и откусить от него смачный, сочный кусок... И полынь, полынь... Прибитая к земле полынь, не осмеливающаяся уходить от нее.

Вернемся, однако ж, в настоящее. Дорога перед отелем, где я живу, рассечена надвое газоном с выводком пальм на нем. Как ни благороден эвкалипт – пальма благороднее. Впрочем, эти пальмы были низкорослые, коренастые, в их толстых сильных стволах было что-то от ног мула, было что-то копытное в расширенных основаниях их стволов. Высокая пальма – это другое. Когда говорят о грации, благородстве пальм, имеют в виду пальмы высокие.

Между прочим, прислонитесь к стволу такой высокой пальмы, посмотрите вверх – и вы увидите вентилятор. Прислонитесь, посмотрите – а потом скажете мне, видели ли вы вентилятор или нет.

(Кстати, у вышеупомянутой дороги есть одно интересное свойство, скорее даже отсутствие такового – я нигде не нашел на ней пешеходного перехода. А машины носятся туда-сюда, поэтому ее нужно не переходить, а перебегать; на другой берег попадаешь с чувством крупной жизненной удачи.)

Вернемся на минутку к эвкалиптам. Все бы ничего, но только вот эвкалипт, как я недавно узнал, не дает тени. А я живописал переход из одуряющего солнца в тень. Как же быть? Я помню и тень, и бабушкин запах. Вероятно, смешал в одну кучу два близких по времени впечатления. А может, и не близких, может, далеких. Теперь уж не разобраться. Но поучительно.

Вернемся на минутку к цикадам. Цикады, как выяснилось, вовсе не кузнечики. Полумошки-полужучки какие-то, довольно противные вблизи. Разновидностей – тьма. Вот так. Поучительно.

Я на двухнедельном отдыхе в Греции, под Афинами. Чувствую я себя человеком относительно преуспевшим – особенно это чувство преуспевания проступает именно здесь, за границей: еще с советских времен заграничная поездка есть знак, а может быть, даже символ успеха для жителя нашей страны. Сейчас, когда многие побывали за границей, да и пускают теперь туда без проблем, эта аура сильно подрастала. Но что-то все же осталось. Да и в конце концов – все-таки не у каждого есть деньги, чтобы мотаться по грециям. Живу я в приличном отеле. (Не застав советских «гостиниц», я быстро привык к заграничным «отелям». Отели я делю на «плохие» и «приличные», я никогда не назову отель «хорошим», как, вероятно, разорившийся миллиардер не назовет хорошими те дыры, в которых ему теперь приходится ютиться. Сам я провел детство до четвертого класса в поселке городского типа за чертой города, в комнате, где жило пять человек, с общими деревянными сортирами во дворе – теперь вам, надеюсь, понятно, откуда идет мой снобизм.) В общем, если без дураков, отель у меня – превосходный. Он тенист и прохладен, как оазис. Здесь покой и достоинство, как в храме Божиим. В лифте звучит MTV, чтобы тебе не стало скучно за те пять секунд, пока едешь. В мое отсутствие в комнате производится уборка; после этого вид у нее прямо-та-

ки нежилой. Шведский стол по утрам, и обильный, более чем обильный, ужин с семи часов (как раз, кстати, тогда, когда врачи рекомендуют ничего уже больше не есть). В трапезной (не знаю, как ее называть, – не столовой же) сидишь среди двенадцати языков. Попадают и русские. Американцев, естественно, слышно громче всех, то и дело разносится их победоносная гнусавость. Вечерами здорово кайфовать в немногочленном баре, сидеть в его подсвеченном полумраке и пить соки и капуччино, чередуя их с сигаретами. А по утрам славно выходить на балкон из кондиционерной прохлады – потрясающее ощущение контраста между прохладой и жаром. Хорошо прогреть свои старые кости. Перед моим балконом – бассейн. У бассейна лежат великолепно сохранившиеся сорокалетние женские особи, коричневые от длительной прожарки, старики с дряблыми животами и шишковатыми коленями, карапузы, семенящие за упрыгивающим от них надутым мячом. Кое-кто плавает или плещется.

А за бортом температура – 35 градусов. Солнце здесь не жжет, оно жгет. Очень жарко и сухо вокруг, море дает некоторую прохладу вблизи себя, но оно бессильно против ощущения беспощадной сухости – я все время помню, что вода в море морская, ее нельзя пить. Впрочем, сухая жара несравненно лучше, чем влажная, так что жаловаться не на что. Мой отель, конечно, не единственный здесь, их тут целое скопление; стало быть, мой оазис – не оазис, а лишь часть этого большого, всеобщего оазиса; впрочем, не совсем всеобщего – пускают сюда только тех, кто здесь, так сказать, прописан. Если выйти на балкон моего номера, то увидишь (за бассейном и прочей курортной дребеденью) горы очень близко, они крутые, скалистые, дикие, кажется, когда смотришь на них, что человек там никогда не бывал, более того – на них даже ни разу не падал человеческий взгляд. Но по контрасту с горами, если повернуть голову чуть вправо, хорошо виден – тоже очень близко – небольшой городок – даже поселок, если сказать по-нашему, – мирно, комфортно, надолго (навсегда) обосновавшийся у подножья этой горной гряды. Городок, этот средиземноморский райцентр (здешнее море называется Эгейским, но не столь это важно), слыхом не слыхал ни о каких диких горах, ни о каких необитаемых землях. Так он и соседствует с суровой горной грядой; они как бы служат живым отрицанием друг друга, но так и продолжают сосуществовать. После городка горы тянутся недолго, они резко обрываются в море. И дальше море, море, море. Море без берегов. А если повернуться на 180 градусов (мы все еще стоим на моем балконе), то мы увидим первым делом, конечно же, мой номер, но если мысленно пробуровать его взглядом, то через пару-тройку километров мы опять увидим море. Море без берегов. Мы на краю земли. На мысе Доброй Надежды. (Название-то какое, Бог ты мой!) Есть только одно направление, где мы не окружены ни горами, ни морем – это направление на Афины; туда ведет длинное и скучное шоссе. А так – мы почти отрезаны от большого мира, только это шоссе связывает нас с ним, и то по нему нужно долго ехать, прежде чем, наконец, начнет появляться город. Почти все здешнее небольшое побережье – один сплошной пляж. Море видно почти отовсюду. Ресторанчики, забегаловки. Микромагазинчики, почти, в сущности, киоски, где продаются кепки, соломенные шляпы, газеты на многих языках (русского нет), прохладительные напитки. Местных жителей, кстати, тоже полно; чуть поодаль от скопления всего курортного начинаются уже их скромные белые жилища. Еще чуть дальше, в другую сторону – городок у горной гряды, про который я уже говорил.

Здесь нет руин, Тесеев и Персеев, здесь местное южное население, плохо сочетающееся с представлениями об античности, но все равно: сейчас я – частичка Греции. Мы как бы вне всего. Просыпаюсь я безо всякого будильника, прекрасно выспавшись, как раз чтобы неспешно свершить утренний туалет и выйти к завтраку. Это дома нужен будильник, чтобы каждое утро с усилием продираешь глаза. После завтрака я возвращаюсь к себе в номер, беру свою соломенную

шляпу; сбегаю единым духом по свежевывымытой лестнице, от которой веет влажной прохладой, двери отеля бесшумно расступаются передо мной, и вот я на вольном воздухе. Стоя на ступенях, я как будто еще раз просыпаюсь (балкон не в счет, с него все кажется каким-то чуть-чуть игрушечным). И я следую, как это у меня уже заведено, по своему обычному маршруту, чувствуя себя немножко Кантом, который, говорят, в этом вопросе был весьма консервативен; по его прогулкам горожане даже проверяли часы. Такой точностью я похвастаться не могу, но ведь я же далеко не Кант. Звенят цикады. И я иду. Перебегаю, шустро семена, дорогу и через ограду вижу слегка волнующуюся синеву моря и сам становлюсь чуточку взволнованным. Я знаю, море прохладное, несмотря на длительную предшествующую жару. Волны, ласковые издали, но вполне ощутимо шлепающие тебя по ноге, по спине. Надо купить банку пепси-колы, так у меня заведено. Гречанка-продавщица настолько прекрасна, что глаза каждый раз отказываются поверить в увиденное, хотя видели они ее всего лишь вчера. Я чувствую в животе холод и пустоту, когда первый раз за день вижу ее. Пока даю ей деньги, беру банку и сдачу, я чувствую, что я где-то не здесь, на каком-то небе. Не иначе на седьмом. И почему-то так обидно думать, что она забудет меня.

Наконец, кончается полоса пляжа, кончаются прибрежные ресторанчики. И мой путь заканчивается скалистым обрывом. Я спускаюсь к воде. Ничего вокруг меня, только камень да вода. (Небо над головой.) Ну, разве еще какой-нибудь любитель уединения расположился где-нибудь вдалеке. Я остаюсь в плавках, достаю полотенце и ложусь на него.

О чем я думаю, лежа под обрывом у моря?

Да так. О многом. Обо всем.

Время затишья. Море плещется каким-то домашним, комнатным плеском.

Я вспоминаю, что я есть. Бывает, знаете, вода нальется в уши после купанья, и ходишь, недослыша. Я так и живу – с водой в ушах. И только сейчас вода вылилась из ушей. Помните ощущение тепленькой водички, вдруг образовавшейся в ухе? слышимость резко обогащается множеством ранее не слышимых звуков, звуковых оттенков. Да, я все-таки действительно существую. Да, теперь я вижу, что я существую.

Закрываю глаза и чувствую, как я парю, парю. И нету мне ни дна, ни крыши.

Зеленые кольца перед закрытыми глазами.

Жаль, что нет чаек. Я, как это положено, долго-долго провожал бы их в небе глазами.

Море иногда чуть добрызгивает до меня.

Вся жизнь проходит передо мной бесконечными титрами.

Кто я? Я старик, вышедший из темного и промозглого дома на завалинку, на солнышко. Я обломок. Хорошо старику, обломку кораблекрушения, греть свои старые, почти не прогреваемые, как океаническая глубь, кости. Там тьма и холод.

Я старый простреленный солдат с деревянной ногой. Как будто я не покидал окопов Сталинграда лет двадцать, с тех пор, как у меня начал ломаться голос. Я воевал больше чем полжизни.

И теперь ветеран лежит и перебирает в памяти все, что там всплывает.

Дожил ли он до Дня Победы? Не знаю. Война-то хоть закончилась? Будем надеяться...

Я понял, что моей жизни пришел конец, и мне ничего не остается, как просто доживать ее. А в чем разница между «жить» и «доживать»? Жить – это когда не знаешь, что будет дальше. А доживать – это когда все наперед знаешь. Я знаю все наперед. Потом меня закопают. Жирная точка. Жирная, как тот чернозем.

Я умру, а кислые зеленые яблоки так и будут покачиваться на ветке, прячась в яблоневых листьях. И осеннее солнце будет играть на них.

Все дальше относит меня от моего детства. От моих лопухов, от моих одуванчиков.

И все-таки я надеюсь, что в жизни смерть – не главное.

«В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет».

Привет моему отцу. И поколению моего отца.

Я жил, потому что хотел выжить. А почему я хотел выжить? Тут, по-моему, был не один страх смерти. Я как-то чувствовал, что обязан жить. Что жить – надо. А откуда взялось это чувство, – я уже не знаю.

А впереди еще много дней. Будут еще какие-то люди. Какие-то обстоятельства. Проблемы, проблемки. Неприятности. И приятности тоже будут. Вот как сейчас, например. Лежать у моря с закрытыми глазами или смотреть, лежа навзничь, на небо. Музыка и книги, города Европы, джунгли Суматры, пустыни Азии. Еще не раз обожрюсь гармонией, всласть урыдаюсь – над вымыслом, над быльем, над чем угодно.

Я иногда испытываю печаль, но отчаяние – никогда. Довольно. Мне надоело отчаяние. Мне надоело страдать. И я перестал.

Я спокоен и медлителен, как солженицынский экз.

Своей жизнью я доволен. Честно.

Я гнушаюсь любых поз, всяческого гениальничанья, замашек проклятого поэта. Я хочу выглядеть как можно более обыкновенным, видя в этом свою высшую честь. А был грех, был грех, не гнушался. Это очень большой соблазн: он сгубил не одного и еще многих сгубит. Пьянство. Безобразия. Ходишь вечно небритый, вонючий. Но я преодолел соблазн.

Теперь – я чистый. Бритый, мытый. Я встаю по будильнику, работаю, занимаюсь делами; вечером – чтение, музыка, иногда фильм по ОРТ после программы «Время». Все. Точка.

Я сказал, что все мне ясно в моей жизни? Да. Но мне еще останется воронье, орущее, кружащее над черными деревьями в трескучий, скрипучий мороз, туман, поднимающийся от реки летним утром, мерцающий перелив огней далеких новостроек, летний ливень, жарящий на лужах глазунью из тысячи яиц, сухой, свежeproсохший после зимы апрельский асфальт, с песчинками, влекомыми, гонимыми по нему ветром, и апрельская же шина огромного грузовика, пыльная, с прилипшим к ней серым комком сухой грязи, недосыгаемый солнечный блик от асфальта, зовущий и зовущий тебя у горизонта, – а ты жмешь и жмешь на велике, неухоженный пруд, где цветет ярким цветом яркая зеленая ряска, плавают утки, – вот одна часто-часто забила своими щипцами, плывя равномерно вперед, поедая ряску, и образовавшиеся на мгновение берега ряски мгновенно смыкаются за ней, морозные узоры на троллейбусном окне, мелкая, мелко завивающаяся снежная стружка из-под ног, застывшее озеро, пузыри во льду, лесная тропинка, пересеченная могучими сосновыми корнями, и раз уж мы там – непобедимая армада неотвязного, ненасытного комарья, маковая начинка муравейника, сыроежки, мох, бледная брусника, роскошный, искрящийся, как шампанское, снег, твердая прямая лыжня, грязный, зернистый наст, предгрозовое небо и город в розовых отсветах, толстый слой сырых желтых листьев, понесшийся плоским стремительным потоком по земле, сорванный с места осенним шквалом, осенние листья стремительны, но все-таки сыры, тяжелы, а вот весенние легки почти так же, как сам весенний воздух, они несутся не зная удержу, взмывая, подпрыгивая, кувыркаясь, да и ветер другой, весенний, лягушки, самоубийственно повыпрыгивавшие после дождя на асфальт из своих трав и мхов, чтобы погибнуть на асфальте под велосипедными колесами, мы ходили с бабушкой по дачным местам, и нам все время попадались эти размазанные лягушки, как свеж воздух после дождя! и его как будто даже стало слишком много, как-то даже немножко давишься им, но я не помню, может, мне приснились эти лягушки?

Природа – последнее прибежище того, кого обманули люди. В стихах создан настоящий культ природы. Байрон о природе. Тютчев о природе. Бунин о природе. Я-то знаю, откуда взялась эта фанатичная любовь к природе. Потому что деваться некуда. Не к добру это, когда человек слишком любит природу. Знаю по себе. Чем дальше, тем лютей я ее люблю.

Что высоко перед людьми, то мерзко перед природой. Бултыхаешься, бултыхаешься среди людей и не видишь природу. Потом остаешься наедине с ней. И все так же не видишь ее, все так же не видишь. Проходят дни. И вдруг наступает момент, когда ты...

Случаются и темные периоды. Основная трудность – просто переживать их и не слушать, что нашептывает тебе бес. Не дергайся. Тебе некуда улучшать свою жизнь. Некуда. Если б было куда, так давно бы уже улучшил. Вот разбить ее, сломать – это ты можешь, думая при этом, что ты не ломаешь, а строишь. Жизнь есть жизнь. Оставь всякую надежду. Эту фразу можно с тем же успехом повесить и у входа в рай – и будет все равно страшно. Когда у тебя нет надежды – это всегда страшно, неважно, где ты живешь, хоть бы даже и в раю. Потому что человек не может жить без надежды. Не может, но, однако, живет. У меня нет надежды, но я живу. И утешаю себя тем, что, в конце концов, все, что со мной происходит, – это всего лишь жизнь, не больше.

Не бойся, это всего лишь жизнь.

Я стал настолько последовательным в своем неприятии жизни, что оно стало похожим на принятие.

Все бегаешь, бегаешь от доживания, ты еще страстно хочешь жить, но не получается, и наконец смертельно устаешь, и капитулируешь: будь что будет. Я согласен доживать. Акт о безоговорочной капитуляции подписан.

Интересно: мудрость и усталость – это одно и то же или разное?

Я живу среди *первичных категорий*. Потому что я отбился от стада. Человек не может жить вне стада. Можно как угодно долго спорить о природе человека, но что он животное стадное – в этом у меня нет никаких сомнений. С точки зрения зоолога – это ненормально, когда человек живет один. А я живу. И не только я, так живут многие, этой зоологически ненормальной жизнью.

Первичные категории. Жизнь смерть красота страх восторг боль водка бабы. Мое мышление прямо-таки засорено такими эпитетами, как (а это именно эпитеты, хоть и имена существительные): Вечность, Космос, Ничто и т. д. Они возникают совершенно естественно у человека, живущего *вообще* (т. е. вне стада), даже если он не склонен к мистицизму. Обесценив «дела людские», мне поневоле пришлось жить среди этих *первичностей*. Я живу на границе между Жизнью и Смертью. Я – как раз на их точной границе. На одной стороне – бездна, на другой – вечный свет. Мрак – Свет. Глубина – Высота. Самое смешное, что этих людей, живущих на границе, целая пропасть. Для людей «дела людские» значат все меньше и меньше. А других дел у них нет.

Оставьте человека одного на зимовье в лесу, а когда навестите его в апреле, он начнет толковать вам о Сущностях. От многих философий, которые я читал, так и веет психопатологией одиночества. Одно огромное одиночество я вижу в этих книгах, их авторы, похоже, замучены, задушены хроническим, на десятилетия, одиночеством.

Очень долго я воздвигал внутренний мир в противовес внешнему; но внутри оказалась пустыня. Я нанял охрану от рэкетиоров, а охрана оказалась хуже, чем сами рэкетеры. Лучше страдать от внешнего мира, чем от внутреннего, – мне кажется, это главное, что я понял в жизни, хотя, подозреваю, слишком поздно. Мой нигилизм по отношению к ней так велик, что умственными построениями здесь не отделаешься. Аскеты просто сглупили. Или струсили. С испугу прописали рецепт (уход от мира), который хуже самой болезни. Внешний мир лучше, чем

внутренний. Поясню. Внешний мир – *болезненнее*, а внутренний – *опаснее*. Удар локтем об угол болезненнее, чем цирроз. Они перепутали две эти вещи и многих сбили с толку своей кажущейся логичностью. И, самое главное, – сбили с толку меня, черт бы их побрал. В то время, в молодости, когда все учатся жить, я жить разучивался (после детства, когда человек, по-видимому, не может не жить). И теперь, вместо прекрасного мира, передо мной лишь призраки и отражения его. Так мне и суждено будет скитаться по призракам до самого конца.

Я следовал в жизни двум имиджам. Сначала послушный, хороший, умный мальчик. Потом подросток с дурными наклонностями, ставший непослушным в той же мере, в какой раньше он был послушным; подросток плавно перетек в проклятого поэта. Это был второй имидж. Теперь я примериваю на себя третий имидж – имидж умудренного философа, этакое царя Соломона. Но с этим имиджем не клеится. Я, к сожалению, понял, что это не более чем имидж, то есть еще одна защита от космического холода мира. Имидж говорит тебе, что думать, что чувствовать, как поступать. Но человеку, который пришел к отрицанию любого имиджа за его серийность и, в конечном счете, фальшь, живется трудно. Никто и ничто не говорит ему, как поступать, а главное, – что думать и что чувствовать. Голый мир вокруг, голые люди, голый я. И я, не санкционированный никем и ничем, думаю, что думаю, чувствую, что чувствую, поступаю, как поступаю. Что не на кого свалить и что нет никакой санкции извне, а лучше бы свыше, – к этому я уже давно привык, но даже спрятаться *не в кого*, не получается *эстетизировать* себя, потому что эстетизация – это подгон себя под какой-то канон, а каноны-то я и отверг. Хотя, может быть, до конца отвергнуть их просто невозможно. И, может быть, в этом мое спасение.

Можно основать новый канон, но невозможно эстетизировать себя в том, что сам же и придумал. Это удел других, которые могут потом сказать тебе спасибо, но, увы, ты остался позади изобретенного самим же собой канона.

Эх, никогда не стать мне мудрецом. Потому что я начинал, как мудрец, но с годами стал мудрее мудреца. У меня хватает мудрости пить и бегать за бабами. Мудрости-то хватает, да вот беда – желанья нет. И уже не наверстаешь.

Все равно человеческое, слишком человеческое. И сверхчеловек все-таки человек. И он принадлежит к тому же надоевшему, до отвращения осточертевшему мне виду. От человечины никуда не денешься. Я погряз в ней, она держит меня. Мне уже надоело быть человеком, я хочу стать чем-то выше его, это даже не сверхчеловек, это вообще не человек. Да нет, выше – это я плохо сказал, выше или ниже – неважно, главное – перестать быть человеком. Но нет. Это невозможно. А раз невозможно, то... то какая разница, каким человеком быть? Александр Великий... Акакий Акакиевич... Все это одна фигня...

Иногда говорят: «стать Богом», но это игрушки, под этим подразумевается просто еще одна разновидность человека, только какая-то, в кому каком нравится смысле, очень хорошая, и за неимением слов приплетают «Бога». И вообще, если что-то создано по образу и подобию человека, то это всего-навсего сам человек и никто иной, ничего другого не бывает. «Любит ли меня Бог? Нет, если бы любил, он был бы человеком, а не Богом».

А если не выше человека, а, скажем так, ниже? Например, собакой? Но это еще скучнее. Хотя, для разнообразия, можно было бы иногда. Может быть, когда-нибудь научатся искусственно создавать какие-нибудь альтернативные существа. А вдруг это будут опять люди? Из космоса пока ничего не слышно. Найдем где-нибудь, на какой-нибудь альфа-бета-гамме разумные существа, а они возьми да и окажись людьми! Впрочем, что это за чушь – «создавать альтернативные существа»! То, что может быть создано человеком, – не альтернативное.

А все-таки кажется иногда, что ты достиг третьей космической скорости, что ты, наконец, покинул... Сверкнет блеска на море, и ей отзовется острый, мгновен-

ный блеск сережки в чьей-то нежной мочке. Смотришь на небо без чаек, и небу отзовется огромная, монументальная помойка неподалеку от нашего дома, и над ней носятся чайки, пискливо оря. Лунная дорожка от люстры на черной пластинке, и черный рояль, звуки которого записаны там, сейчас заиграет «Лунную сонату»...

Да мало ли еще чего. Что угодно. Все отзывается всем. Земных вериг больше нет. Одни огни в пустоте. Перелив огней. И все.

...я вижу ее, сходящей с отсыревшего деревянного крыльца, она медленно проводит ладонью по лицу, словно пытаюсь понять, снится ли ей все это или нет. Меня она не видит. И вместе с ней я впадаю в тяжелый, медленный сон. Она выносит ведро помоев. Птицы кружат в небе. Я смотрю в небо, не в силах оторваться от них, и земля вокруг меня тоже начинает кружиться. С усилием очнувшись, но так до конца и не стряхнув с себя сон, я иду к ней, чтобы взять у нее ведро...

Грезы мои печальны. Темны. Сны мои – душны.

...утро, обметывает мокрым косым снегом...

...Я стоял и чувствовал, как ненавидит меня этот мир. И я ненавидел его в ответ. Впрочем, неизвестно, кто первый начал. Оба хороши...

Серый день на улице, вторая половина августа. Дождь кончился недавно, но стекла успели пообсохнуть. Хотя довольно еще на них застывших слезных капель. Я сижу и смотрю в окно. Там, на улице, сосны, я знаю, как они сейчас пахнут. Туда пока не тянет, но через минуту, может, захочется. Тогда и выйду, никто меня здесь не держит. Сырая хвоя будет мягко пружинить под ногой. День затишья. Что-то кончилось в жизни, а что-то не началось. И слава Богу. Я хоть передохну.

Главное то, что вернулся день из детства. Мне никогда не привыкнуть, что его больше не будет. Когда помрешь, можно постепенно привыкнуть к тому, что тебя больше нет, но не привыкнуть к тому, что больше нет твоего детства. А сейчас мне опять лет одиннадцать. Подаренный мне день. Когда еще раз будет такой? Через сколько дней, месяцев, лет?

Но, однако ж, вернемся к нашему греческому морю.

Лежу я у моря часа два, периодически окунаясь. Когда открываешь глаза, встаешь и заходишь в море, делается весело. Солнечная дорожка на море – танцующие ослепительные блески, целый их звездный путь; мгновенный взгляд на них, и я шалею от первобытного, дикарского восторга; кстати, ночная сестра солнечной дорожки – дорожка лунная – настраивает на несколько романтически-потусторонний лад, отзывается какой-то старонемецкой поэзией склепов и саванов. Неоглядного морского простора тут нет – это скорее бухта, да еще разбросанные повсюду острова. До некоторых рукой подать, а некоторые едва проступают гипнотическими силуэтами из уходящей в бесконечность, в вечность морской дали.

Возвращаюсь ослепленным и пропеченным солнцем, просоленным морем. Возвращаюсь почему-то усталым. От чего? От лежания, от мыслей? Непонятно. Дорога назад поскучнела и удлинилась.

Разгар дня, с самого детства самое тоскливое для меня время, с самых первых времен пугающее меня догадкой, что жизнь, как это ни скверно, довольно-таки тоскливая штука. Впрочем, с годами к этому времени суток я стал относиться философски: за вечер оно все равно не перевалит.

В отеле обедаю чем бог послал. После моря, воды, еды хочется спать. И чудненько. Теперь я бы полжизни превратил в тихий час; пожалуй, что и лебеди на

занавесках и тройка на ковре мне бы не помешали. Испуская сладкий вздох, я на время выпускаю дух.

Просыпаюсь с тяжелой головой, помятый, с хорошо, рельефно получившимся отпечатком подушки на лице. Извилины склеены. Закуриваю, мутно смотрю в окно гляделками, тускло глядящими из чурбана головы. Дурное состояние. Но на то есть душ. Долго фыркаю там, плещусь, очухиваюсь.

Сходить надо попить кофейку.

Читаю Гончарова. У меня огромная книжища издания 1948 года, гигантская азбука-копейка. В прошлый раз когда читал, остановился перед «Обрывом». Сейчас дочитываю «Обломова», но чувствую, что и на этот раз остановлюсь. Из неглавных персонажей лучше всех получился дядя-Адуев. Остальные неглавные – бледны, что уже неоднократно... Интересно, что антиподы Адуеву и Обломову не такие уж и антиподы. Гончаров не соблазнился идеологией, плакатностью. (Антиподов он не видел!) Штольцу уж во всяком случае доступны обломовские чувства. И все-таки он сделал другой выбор, несмотря на... Но сам Обломов настолько лучше написан, что где уж бедному Штольцу угнаться за ним «в глазах читателя». Штольц, кстате, не немец, а полунемец. (Странное: образ немца в те времена – немец одновременно и туманный романтик, и трезвый делегата; в то время как речь идет о тех же самых немцах в то же самое время.)

В самом конце разговор Штольца с женой.

Я, не помня о напутствии Штольца, последовал ему.

Читаю письма, проникаясь тоской, унылостью, застылостью.

А почему он так мало написал? Не знаю. Непишущий Олеша о Гончарове: «уже прорывавшийся, кстате говоря, в неписание».

Не изжить. Не изжить свою единственную тему. Все возвращается к ней. Врожденная незаживающая рана-тема в душе. И все она слезится, все слезится гноем.

А тем временем за бортом воздух начинает сиреневеть и темнеть, но пока еще он не исчез. И тут с своей волчихою голодной выходит на охоту волк. Без всякой волчихи выхожу я. Лови субтропические сумерки. Город отдыхает, как пашня после дневной страды. Асфальт пышет теплом. Пустой пляж. Море, оставшееся без солнца, без неба, чтобы за ночь восстановить, сохранить свою прохладу. А над горами уже высится тьма.

Так темно и так тепло. Я, лениниградец, не привык к этому сочетанию, я брожу, дурея, шалея от него, я как чукча, дорвавшийся, наконец, до водки. Кончилось полярное зимовье. Я брожу бесцельно, но так только говорится, цель есть – бродить. Как огромно пространство вокруг меня. Почему-то я не чувствую этого днем, когда светло.

Возбуждающее, кружащее голову чувство затерянности. Что-то похожее бывало, когда в детстве заберешься под стол. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Нету меня, нет. Ни для кого. Никто меня сейчас не найдет, никто. Вокруг меня люди, чьего языка я, слава Богу, не понимаю, и, слава Богу, они не понимают моего. Я нигде. Я у себя. Я не брожу, меня несет, уносит, уносит, вот уже я в беспмятстве и наконец я открываюсь от взлетной полосы, достигая ровного космического оргазма. Я ровно свечусь невидимым светом. Голова свободно болтается на одуванчиковом стебельке. Она такая легкая. Охота удалась. Я уже не на охоте, я добыл все, что мне надо.

Фонари. Пляжный день кончился, будто его и не было. Ребяшня, крикотня, высохший, полуосыпавшийся слой пляжного песка на женской спине – как не было этого. Теперь вечерние (по-видимому) платья, импозантные пиджаки в светящихся ресторанах и ресторанчиках. Смотришь на эти пиджаки и платья и думаешь, что сюда пришел Север. Чинный, упорядоченный Север внутри и оргиастический Юг снаружи. Они в маленьких уютных тюремках, а я – в пространстве.

Фонари.

...я вспомнил увядший, ставший вялым и коричневым стебелек одуванчика, превратившийся в теплую, раскисшую дрянь в моем плотно сжатом потном кулачке. А вот я лежу в больнице, после шести недель меня наконец выпустили погулять, и я вышел в лето. А лег еще весной. Я одурел от этого внезапного лета, наступившего сразу после межсезонной грязи, после белых разрозненных холмов слежавшихся льдистых зерен, после воздуха, иссеченного голыми прутьями. Я вглядывался в каждый листик, в каждую травинку, былинку. И я дошел до поляны. Там было много одуванчиков. Я вгляделся в один, подумал... Он почему-то заставил меня задуматься, что-то я должен был понять, вспомнить... И тут я понял, что мой любимый цветок – одуванчик.

Мертвое детство хватает живого меня. Воспоминания детства – это оплакивание жизни. Я заиклен на детстве, я оплакиваю и оплакиваю его (жизнь). Неизжитое воспоминание, неизжитая травма. Детство – травма? Пытка детством? Казнь детством? Расплата за детство? Да что я такое говорю?.. Кончился сон Обломова.

Сколько времени прошло с детства? Вечность? Нет. Началась другая вселенная, со своим собственным, другим временем.

Пойду в гостиницу, буду пить кофе в баре, в его подсвеченном полумраке. Там работает приемник, он разносит по воздуху абы что. А я буду улавливать его мелодии. Может быть, сегодня будет удачный улов. Охотник за мелодиями, подслушиватель нечаянных мелодий. По слышанным в разное время мелодиям я могу восстановить свою жизнь.

Чай, соки, капучино; все это чередуется с сигаретами. Вокруг редкие очажки чужих языков. Редко разбросанные, негромкие, благовоспитанные кучки. Пусто в баре, прохладно. Иногда доносятся американцы. Компания рядом. У них вежливые, не по-советски монголоидные лица.

И иногда я слышу эти мелодии-картины.

Я лежу где-то на огромной высоте. Внизу, очень далеко внизу – пляж, прибор. И веселящаяся компания. Прибор как раз такой, какой нужно – чтобы возникло ощущение моря, но чтобы и с ног не сбивало. А компания переживает сейчас какой-то такой восторг, какой ни разу в жизни они не переживали. Может быть, очень долго они делали какое-то общее дело, и наконец оно поглощено! Самый счастливый миг их жизни. Они очень далеко от меня, я прекрасно чувствую их построение, но их самих вижу очень неясно, еле вижу. Кажется, там есть мяч. А вот, кажется, они начали брызгаться друг на друга, как дети, и все в восторге, хохочут. И меня мучит счастливая догадка: а вдруг я один из них? Может, мне только кажется, что я смотрю со стороны? Но, во всяком случае, и у меня будет такой день: когда все сбылось. Точно будет. И я буду один из них.

Я вхожу в летний, мокрый лес только что после дождя. Как-то загадочно-пасмурно. Как-то обволакивает... Бывают летом какие-то странные тихие дни, когда пасмурно, тепло, нет ветра, и недавно прошел дождь. В лесу почему-то очень просторно, можно спокойно шествовать по нему. Деревья прямые и велики. И построены как будто в заданном порядке, ты входишь и входишь в лес, и этот порядок все разворачивается и разворачивается. Но нет никакой искусственности; нет, этот порядок сам как-то возник. Я иду с глубокой благодарностью смотрю на мокрые, или уже сырые, деревья. Деревья – почти наши осины, но какого-то большего размаха, замаха, величия. Очень странно и здорово здесь идти.

Чу!

Где-то в глубине леса мне померещился легкий желтый огонек. Что это было? Огонька уже нет.

...И меня вдруг охватывает такое счастье, что я просто не выношу, не могу идти и сажусь на первый подвернувшийся пенек. Я начинаю слышать свое тяжелое, переполненное восторгом дыхание. Я вспоминаю желтый огонек, и что-то екает в груди, и словно булькает где-то в горле. Мне хочется стонать, но покидают силы. Деревья темнеют надо мной...

Я в затемненной комнате, которая раньше была больше, но теперь сузилась. В воздухе сильно чувствуется запах эвкалиптовой настойки. Очень велик комод, половина пространства комнаты заполнена им. Занавески на окне сомкнуты. Лебеди на занавесках. Но это неважно. И что комод – тоже неважно. Важно, что она ушла от меня. Так непоправимо ушла. И я остался один, с этим комодом, с этим больничным запахом, с этими лебедями на занавесках. Мокро в глазах. Пальцы в чем-то коричневом, засохшем, медицинском. Понюхал – йод. Почему йод? Иногда я пытаюсь немо воззвать к ней, как-то заклсть... Ты понимаешь, что ты сделала? По-моему, ты просто не понимаешь! Но нет. У меня нет сил вернуть ее. И нет сил понять, что она прекрасно все понимает.

Нет, пожалуй, именно эти-то картины и не передашь. Жалко, мне они кажутся чуть ли ни самым главным во всей моей жизни.

А завтра я опять пойду к морю, созерцать вечность.

Меня ждет Петербург. Там уже ангелы осени кружат в небе. Осенью я все время всматриваюсь в небо, и иногда мне кажется, что я увидел их. И рассеянный свет ранней осени из окна, и слабый раствор заката. И водоросли в канале Грибоедова, и на Марсовом поле все тот же огонь рвется из земли. Но никого не может он согреть. Осеннее небо. Его тревожная сырая синева ясно и холодно проглядывает между облаками, синие сырые раны в облаках; меня томит этот осенний воздух, томит и усыпляет, но не дает спать; осень, каждый год, каждый раз я прихожу на чью-то очень важную для меня могилу ...горьковатый яд осени... мокрая осиновая кора... горьковатая... Но кто томится там, в этой могиле? томится и взывает ко мне? Я не знаю. Нерассасывающийся, непроглатываемый ком в горле. Философия осени. И солнце, вдруг охладившее к нам, а мы уж было ему поверили. Вы когда-нибудь видели в городе березу? Осеннее небо. Всю синеву уже засосало светлой серостью. Эта светлая, томительная, осенне-небесная слепота.

Но небо опять станет синим. И лужи станут синие, как северные озера...

Все это ждет меня. Но пока я в Греции. Отдых в Греции продолжается.